



Влодзимеж Бородзей

**Год 1945-й. Польша и Запад,
или
О связях между внешней и исторической
политикой**

1945 год в памяти человеческой занимает прочное место. В Европе символической датой является 8 мая (в одной столице – 9-е), по обе стороны Тихого океана – 2 сентября. День поражения Оси, а тем самым агрессора, который уничтожил Вторую Республику – это дата, важная и для поляков. Но конец «времени умирания», как определил вторую мировую войну и оккупацию свидетель того времени, впоследствии выдающийся историк Францишек Рышка, не является единственной ассоциацией поляков – я даже не знаю, как долго она останется наиболее распространенной. Назову лишь несколько дат и событий, находящихся с 8 мая в конкурентных или даже антагонистических отношениях: роспуск самой крупной антифашистской подпольной организации – Армии Крайовой – 19 января, Ялтинская конференция, создание Временного правительства национального единства и процесс 16 руководителей антифашистского подполья в июне в Москве, Потсдам. Напомню коротко, что ни одно из них не связано с 8 мая в том смысле, что это был день победы антигитлеровской коалиции. Польша была членом-основателем этой коалиции. Тем не менее, Армия Крайова была распущена не потому, что война уже была выиграна, а потому, что произошла – по словам ее

последнего командира – замена «одной оккупации другой»¹. В Ялте великие державы поставили печать под принятым ранее решением о том, что «первый союзник» (как любит писать Норман Дэвис²) не достигнет своей первой и главной цели войны, то есть не сохранит территориальной целостности государства, и это решение было там конкретизировано. В московском процессе «подпольное государство» было вытолкнуто – вопреки очевидным фактам – за пределы победившей коалиции. Возникшее в это же время правительство успешно отрицало репрезентативность эмигрантского кабинета и таким образом открывало новую главу в истории польской государственности. А в Потсдаме эта новая государственность была наделена немецкими восточными провинциями, которые образовали треть новой территории. В итоге Польша была **географически** передвинута на Запад на расстояние от 200 до 300 километров, достигнув уже умозрительных в 1939 г. границ «родных земель», которыми стали не только Гданьск или Вармия, но и Згожеlec или Любушская земля. Эти территории были расположены так далеко за пределами польской государственной традиции, что им необходимо было придумывать не только родословную, но и названия.

Политически же Польша была передвинута на восток – в степени, которой также не знала ее история. Правительство в эмиграции опротестовало ялтинские решения. Оно называло их новым «разделом», вероятно, лишь потому, что не нашло более обидного, более крепкого или прочнее закрепленного в традиции определения. По сути раздел означает дележку; части попадают к разным, так сказать, владельцам, как это произошло в случае Речи Посполитой после разделов, на Венском конгрессе или в сентябре 1939 г. А в 1945 г. вся Польша политически и с точки зрения государственного устройства оказалась на востоке.

¹ *Armia Krajowa w dokumentach*, t. V, Londyn 1981, s. 239.

² N. Davies, *Rising '44. 'The Battle for Warsaw'*, London 2003.

Написать, что спор о событиях и значении событий, происшедших 61 год назад, продолжается до сих пор, было бы некоторой неточностью. Однако без особых опасений можно рискнуть выдвинуть тезис о том, что мы имеем дело с маятником, запущенным в 1945 г. Он качнулся в то время в направлении обязательной в последующие почти 45 лет догмы о том, что 1945 год принес победу над вечным врагом и в то же время союз с могущественным соседом, обеспечившим Польше безопасность, историческую и социальную справедливость, наконец, прогресс во всех возможных областях. В Третьей Республике продолжается движение в другую сторону: 8 мая стало, как показало празднование его 60-й годовщины, двузначным символом, в разных аспектах разделяющим польское общественное мнение, и причиной разногласий на международной арене. Что интересно и, наверное, вообще не замечается – эти споры не разделяют тогдашних врагов, то есть поляков и немцев, но антагонизируют отношения между Польшей и Россией. Если Польша проиграла вторую мировую войну – ибо в этом направлении двинулся маятник, то не из-за Германии, а из-за СССР, при безучастной позиции Запада. Этот феномен нельзя объяснить без напоминания краткой истории «польского вопроса» во второй мировой войне.

Станислав Жерко два месяца назад сформулировал мысль о том, что отказ присоединиться к антикоминтерновскому пакту в начале 1939 г. сделал Вторую Республику ключевым субъектом международных отношений; так важна Польша не была ни до, ни после. Это действительно так. Однако в общем забывается о том, что британские гарантии Польше – свидетельство и следствие этой значимости – были частью более широкого плана вовлечения Соединенного Королевства в жизнь Восточной и Юго-Восточной Европы и что этот план не изменил – назовем это мягко – скептического отношения к проблемному партнеру. Мы помним о том, что британцы выражали свое недоверие к граничной программе Польши уже в Версале. Локарно они рассматривали как успех, а сотрудничество Польши с Германией вплоть до Мюнхенского соглашения убеждала

их в ментальной сдержанности в отношении Варшавы. Секретарь премьера Великобритании позднее вспоминал, что считал своеобразной справедливостью то, что теперь Гитлер взялся за Польшу, которая так позорно повела себя в отношении Чехословакии. Его следующий шеф, т. е. Уинстон Черчилль, весной 1939 г. сожалел, что его страна в недавнем прошлом пришла на помощь не отважному и демократичному чешскому народу, а именно полякам. Точнее всех определил эту двойственность, постоянно характеризующую западный взгляд на польский вопрос, Гарольд Николсон: плохо, что Великобритания решается на эту войну, но что поделаешь, если не из чего больше выбирать: либо именно такая – т. е. в защиту Польши – война, либо «сдача всей Европы под власть нацистов»³.

Я напоминаю эти суждения, относящиеся к весне 1939 г., поскольку они представляют собой своеобразный пролог к финалу, состоявшемуся шесть лет спустя. Польша потеряла репутацию региональной военной силы в сентябре 1939 г. и немедленно утратила также фактическую субъектность: от ее решений с этого момента уже немного зависело. Тем не менее польские летчики в битве за Англию, и прежде всего за образ «страны без Квислинга», дали правительству в эмиграции новый козырь – статус не столько первого, сколько даже в наиболее драматических обстоятельствах **верного** союзника. С другой стороны, британцы никогда не скрывали, что для того, чтобы выиграть войну, необходима, как любили говорить и писать, «Россия». Им было легко употреблять это название, поскольку они рассматривали войну как предполагаемую переэкзаменовку по истории, т. е. по первой мировой войне. Когда же речь шла о польско-советских отношениях, они использовали другое обозначение: «линия Керзона». Ни одна известная мне публикация не объясняет, какой это кремлевский гений предложил в конце сентября 1939 г. передвинуть

³ Скептические высказывания британцев по отношению к Польше собрал Герман Грамль. См.: Н. Graml, *Europas Weg in den Krieg. Hitler und die Mächte 1939*, R. Oldenbourg Verlag, München 1990, S. 182.

немецко-советскую демаркационную зону с Вислы на Буг, т. е. советская власть добровольно сократила масштаб своего влияния, отступив на более чем 100 километров на восток. Это решение обычно объясняют национальными причинами (русские отдавали поляков немцам, беря себе Литву и концентрируясь на «воссоединении» Белоруссии и Украины). Возможно. Но благодаря этому отступлению СССР линия границы по германо-советскому договору в сентябре 1939 г. действительно напоминала линию, придуманную в 1919 г. *Foreign Office*, и была выдвинута повторно летом 1920 г. Иногда во внешней политике следует обратиться к истории, т. е. инструментализировать прошлое для нужд настоящего. Германо-советская граница на Буге – это лишь первый пример. Если бы Молотов должен был после 22 июня 1941 г. ссылаться на свои договоренности с Риббентропом, подписанные в сентябре 1939 г., у него было бы очень трудное переговорное положение, а ссылка на лорда Керзона открывала новый аспект разговора, великолепным образом облегчая Кремлю пребывание в антигитлеровской коалиции.

В той же степени, в какой по вопросу о границе, прочерченной много лет назад собственным государственным секретарем, британцы не намеревались ссориться с русскими, они не забыли, зачем объявили немцам войну. Недавно одна из ведущих польских газет с некоторым удивлением сделала открытие, что Уинстон Черчилль по отношению к полякам поступил порядочно и приложил немало усилий к тому, чтобы Великобритания выполнила свои обязательства. Так, Черчилль в Тегеране и Ялте боролся как лев за то, чтобы «Россия» не поглотила своего западного соседа, а во время Варшавского восстания пережил глубокое разочарование. В то же время он не скрывал ни от Сикорского, ни от Миколайчика, что не пожертвует ради Польши стратегическим альянсом на востоке. В октябре 1944 г. он кричал на польского премьера, мол, поляки – это «нация бунтовщиков, которая хочет развалить Европу (...) вы мне надоели»; были брошены слова о сумасшедшем доме. Присутствовавший при этом разговоре

высокий чиновник *Foreign Office* записал с заметным равнодушием, что сцена была «неприятная»: «справедливый гнев премьера и глупость поляков, которые, как Бурбоны, ждут, что все к ним вернется»⁴. Польско-британские диалоги во время войны именно тем и отличались от польско-американских, что Лондон вел себя более порядочно, чем Вашингтон: американцы не боролись за симпатичного, впрочем, союзника и не особенно объяснялись, способствуя укреплению надежды и иллюзий в польских эмиграционных кругах.

Именно Черчилля Польша должна благодарить за то, что вопрос о ней занял столько места в Ялте, когда в последний раз стал главным на совещании Большой Тройки. Вышло из этого немного; буква ялтинских решений перечеркивала большинство надежд правительства в эмиграции. Тем не менее положение об образовании Правительства национального единства оставило открытой возможность принятия решения, учитывающего не только видимость. И на самом деле лишь перечеркивание как духа, так и буквы ялтинских решений – арестом «шестнадцати», фальсификацией референдума и выборов – сделало из них этот зловещий символ бессилия поляков, длинная тень которого так удивила в 1980 г. Тимоти Гартона Эша. Я сошлюсь здесь на его воспоминание о визите в Польшу, сразу же после возникновения «Солидарности»: «Когда я был в Польше впервые, я часто слышал магическое слово „Ялта“. „Ялта“ – вздыхали мои новые знакомые. Произносилось слово „Ялта“ – и беседа тонула в меланхолической тишине. Разве „Ялта“ означает „судьба“? Или „такая уж судьба“? – думал я тогда»⁵. Во время следующих бесед он понял, что именно о такой – определенной другими – судьбе поляков идет речь.

Возвратимся, однако, к весне года, который нас интересует. По возвращении из Ялты секретарь Черчилля записал, что

⁴ Цитируется по: M. Gilbert, *Churchill. Biografia*, t. II, Poznań 1997, s. 821; W. Póbobóg-Malinowski, *Najnowsza historia Polski 1864–1945*, t. III, cz. IV, s. 800 n., прим. 110.

⁵ T.G. Ash, *Polska rewolucja. Solidarność*, Londyn 1987, s. 3.

премьер, наверное, сам себя убеждает, что с Польшей все в порядке, но в глубине души волнуется за нее и не уверен, что позиция Лондона справедлива с нравственной точки зрения; в июне 1945 г. он прощался с Миколайчиком, заверяя: «Я буду Вас поддерживать до предела своих возможностей. Речь идет не о британском правительстве, не о консервативной партии. Это вопрос, который выходит далеко за пределы политики»⁶.

Правда, чего Черчилль имел право не знать, выглядела совершенно иначе. Именно весной 1945 г. польский вопрос переставал играть прежнюю роль в политике мировых держав. За исключением потсдамского эпизода, Польша стала одной из многих стран, отделенных железным занавесом (который первым заметил не кто иной, как Йозеф Геббельс). Лондон и Вашингтон пытались вести переговоры, иногда протестовали – каток коммунизма катился дальше, давя контуры отдельности или исключительности «польского вопроса». Несколькими годами позже Польша была уже только одной из провинций – правда, особо крупной – «внешней империи» Москвы в Европе.

На возможности действия ее тогдашних властей имело влияние несколько факторов, и на первом месте была исключительно сильная зависимость от Центра. Сущностью сталинизма было отсутствие доверия. В этой ситуации контроль, постоянная угроза репрессий и сами репрессии были единственными известными механизмами гарантий лояльности и послушания. Другие средства в СССР не были испробованы и, таким образом, не могли использоваться в период построения «внешней империи» непосредственно после войны. Когда советские дипломаты в ответ на упреки Запада в Бухаресте или Будапеште объясняли, что не используют здесь методов, которые не применялись бы у себя в стране, их западные коллеги рассматривали это как крайний цинизм; они не могли поверить, что русские с ними совершенно искренни.

Эта система – повсюду там, где остановилась Красная Армия, – не предусматривала альтернатив и исключений. Поэтому идея

⁶ Цит. по: W. Borodziej, *Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947*, Londyn 1990, s. 148.

Миколайчика о «финляндизации» Польши (я использую здесь понятие более позднего времени, но оно точно передает сущность проекта) была обречена на провал, а полноту власти здесь получили Гомулка и Берут. Это о влиянии универсальных факторов, которые были видны от Варшавы до Софии.

Однако способ осуществления этой власти, в частности, в области международных отношений, определялся также специфическим положением Польши. Данная специфика состояла не в слабости партий и коммунистической традиции, ибо такие ситуации в то время были скорее правилом, чем исключением, в возникшем «Блоке». Исключительность положения Польши состояла в ее новой географической форме. С одной стороны, исключительной была утрата почти половины территории 1939 г., даже Германия потеряла лишь 1/4 своих земель. С другой стороны, именно новая западная граница создавала условия, до тех пор совершенно неведомые. Для Запада передача земель на восток от Одры и Нысы-Лужицкой представляла собой доказательство выполнения договоренностей: Польша получила своеобразную компенсацию за утраченный восток. Напомним, что Москва оценила т. н. Возвращенные земли почти в три раза выше, чем ранее аннексированные старые польские восточные воеводства; более поздние оценки были ниже, но убеждение Запада в том, что Польша *per saldo* получила в форме Новых земель одновременную компенсацию и покрытие убытков за военные потери, наверняка не было безосновательным. Отметим еще одну особенность потсдамских решений, в той же степени забытую: переговоры вокруг польско-германской границы проводились под знаком финализации «польского вопроса». Кажется, лишь британцы пытались высчитать, сколько новых проблем они допускают в свою оккупационную зону, соглашаясь на принятие новых сотен тысяч бездомных и безработных немцев с востока. Однако в принципе участники переговоров в июле 1945 г. решали проблему, выросшую во время войны. Но в переговорах не появляется предостережение о том, что то или иное установление восточной границы Германии в некоторой

степени определяет состояние совершенно другого вопроса, который уже вскоре стал самой большой проблемой европейской политики, – вопроса немецкого. Польша как бенефициант Потсдама становилась частью этого вопроса и оставалась ею до лета 1990 г. – но на это в 1945 г. фантазии хватить не могло.

Приобретения обогащали Польшу, но одновременно рождали проблемы. Джордж Ф. Кеннан в декабре 1944 г. предупреждал, что «чем дальше вглубь Германии будет передвинута западная граница Польши, тем более поляки экономически и в военном отношении будут зависимы от Советского Союза (...) установление линии Одры как восточной границы Германии должно углубить эту зависимость до такой степени, что ни одно польское правительство, действующее на восток от этой линии, по сути не будет ничем иным, чем местной властью, а территория Польши будет в этом случае, в силу железной логики событий, в военном, экономическом и политическом отношении подчинена Советскому Союзу»⁷. За полгода до конца войны Дж. Кеннан не мог знать о том, что эту зависимость укрепят в Потсдаме Великобритания и США, соглашаясь на наиболее западный вариант линии границы – и в то же время отказывая ей в окончательном утверждении. Откладывание решения до мирной конференции уже в 1946 г. дополнительно усилило зависимость Варшавы от Москвы. В тот момент, когда американцы в рамках начинающейся борьбы за Германию напомнили о временном характере Потсдамской линии, Сталин демонстративно определил ее как постоянную границу. Польские коммунисты в этой ситуации по меньшей мере до шестидесятых годов должны были сознавать, что СССР является единственным гарантом границы по Одре и Нысе-Лужицкой.

Наконец, потсдамские решения сужали поле маневра какой бы то ни было польской дипломатии на ближайшие десятилетия еще и по-другому: присоединение бывших немецких

⁷ G.F. Kennan, *Memoirs 1925 – 1950*, Boston 1967, p. 211.

провинций как бы воспроизводило постверсальскую ситуацию, продолжая структурный польско-немецкий антагонизм. Тем самым Польша, к тому же более слабая, чем в двадцатые годы, была обречена на поиск поддержки по крайней мере одной из мировых держав. Даже зависимость от СССР (не говоря уже об официально декларируемом союзе) получала таким образом национальное обоснование, которое вскоре стало одним из путей рационализации и интернационализации новой системы. Об этом сегодня говорится неохотно, а пишется, кажется, исключительно в обвинительном тоне, но именно на этот путь стали многие интеллектуалы, которые до 1945 г. ничего общего с коммунизмом не имели.

Десять лет спустя такие понятия, как польский вопрос, казались совершенно анахроничными. Польская провинция внешней империи отличалась от соседей то одним, то другим, но ведь эти различия были не большими, чем между остальными странами. Посольства США и Великобритании много лет ожидали «польского Тито». В расчет принимались две группы: «крайовцы» из Польской рабочей партии и бывшие социалисты. Одни и другие в этот период не играли какой бы то ни было заметной роли, тем не менее Запад не имел выбора: после правильной идентификации потенциальных линий разлома или царапин на броне оставалось лишь ожидать ее износа. Американцы активно участвовали в ускорении этого процесса, вкладывая много души и изобретательности в компрометацию тогдашних властей в Варшаве. Тем не менее, стрелки в 1945 г. были установлены по-старому, с одним серьезным исключением: западные державы в парижских соглашениях обязались поддерживать объединение Германии. Вопрос о немецкой восточной границе остался открытым. Запад никогда не принимал аналогичных решений в отношении восстановления суверенности стран по другую сторону «железного занавеса». Раздел Европы и враждебность между Востоком и Западом стали в то десятилетие реальностью, структурой, подчиняющей себе как большую политику, так и обыденную жизнь.

Возможно, участники конференции по случаю 50-й годовщины 1956 г., которая состоится осенью, будут придерживаться иного мнения. Однако из нынешней перспективы мне представляется, что ни одна временная цезура не модифицировала результаты 1945 г. так, как 1956 год. Суэцкий кризис охватил по сути страны четырех континентов, потряс Запад, по крайней мере из части нейтральных стран как бы сделал серьезных международных партнеров – в будущем это обстоятельство имело значение также для внешней политики ПНР. Десталинизация в Польше и революция в Венгрии касаются нашей темы гораздо более очевидным образом. Обе эти страны – а тем самым потенциально и другие т. н. «народные демократии» – вышли за пределы роли провинций внешней империи. Они стали, как до 1945 г., проблемами международной политики. В польском случае Москва вынуждена была прислушаться к мнению Пекина; насколько другие потенциальные международные отзвуки имели влияние на отступление от идеи интервенции, мы не знаем. В венгерском случае они известны; это дорого стоило, особенно западным коммунистическим и социалистическим партиям. Для поколения Хрущева и Молотова возвращение стран преддверия к реальной (а не внутриблоковой) международной политике не должно было быть большой неожиданностью; они ведь помнили времена, не такие уж далекие, когда именно так и было. Я обращаю на это внимание, потому что для следующего поколения – Брежнева или Черненко – этот вопрос мог быть гораздо менее очевидным. В октябре 1956 г. Хрущев полетел в Варшаву, а через два месяца нанес импровизированный визит Тито на Бриони. В 1968 г. Брежнев принимал главным образом у себя, в период «Солидарности» ему не пришлось в голову лететь в Варшаву – и это независимо от состояния здоровья.

Невзирая на более поздние колебания, октябрьский перелом принес довольно радикальные и прочные изменения в сферу зависимости Варшавы от московского Центра. Польша почти на четверть века обрела статус второго номера в так называемым «лагере», именно то место, которое польские ком-

мунисты представляли первому посланнику де Голля весной 1945 г. как цель своей политики в отношении Москвы. Статуса самой важной европейской страны «народной демократии» Гомулка добился во время октябрьских переговоров 1956 г. в Варшаве и ноябрьского визита в Москву. Во время польско-советских переговоров в верхах в мае 1957 г. он был подвергнут испытанию.

Москва, как представлялось, в это время была согласна с экспериментом Гомулки, значимость последних проблем за столом переговоров была гораздо меньшей, чем осенью. Несмотря на это, когда Гомулка и Циранкевич вернулись к экономическим расчетам, разразился закономерный скандал: хозяева явно были поражены «купеческим» подходом гостей из Польши, т. е. их неблагодарностью. Они на повышенных тонах напоминали о советском вкладе в освобождение Польши, о том, что Польша была меньше разрушена во время войны, чем СССР, и о том, что Щецин оказался в Польше как бы случайно: «Других аргументов, чем тот, что Красная Армия его завоевала, не было», – говорил, впрочем, правду, Хрущев. Посыпались обвинения в том, что «Лысый», т. е. Циранкевич, во время недавней поездки по Азии произносил антисоветские речи»⁸. Все закончилось компромиссом в вопросе о финансовых расчетах 1945 г. и демонстративно теплыми тостами на вечернем банкете, однако воспоминание вошло в неписаную память или даже в политическую культуру польских коммунистов: два года спустя Хрущев был удостоен почетного гражданства древнего города Пястов Щецина – как будто этот жест мог усложнить ему отмену решения 1945 г. Торжество имело в себе нечто от ритуального заклания, тем не менее его интенции были восприняты в Европе правильно. После свержения Хрущева Гомулка осудил его уже без обиняков (хотя и не публично) в том, что в «основе» его немецкой политики

⁸ K. Ruchniewicz, T. Szumowski (red.), *Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957*, Warszawa 2006 (далее цитируется как PDD 1957), dok. 124, цит.: s. 391.

лежала «концепция Рапалло»⁹; худшего упрека, с точки зрения Варшавы, сформулировать было невозможно.

Возвратимся, однако, к результатам перелома 1956 г. Пересмотр внутриблоковых отношений открывал новые сферы западной политики ПНР. Наиболее известный пример – это план Рапацкого, однако следует напомнить о более широких ее контекстах. Успех Гомулки означал осуществление мечтаний Запада о «новом Тито», к тому же в самой крупной стране из тех, которые вообще входили в расчет. Надежды на дальнейшую либерализацию системы погибли, как известно, в зародыше, но Запад был склонен вкладывать в нее средства: французская программа научных стипендий и американский закон *PL-480* должны были служить дальнейшей эмансипации Варшавы от опеки Москвы. Польша – это по сути страна Запада, аргументировалось в таких ситуациях, католическая и национальная. Национальным, таким образом, должен был быть коммунист Гомулка, а присутствие рядом с ним Циранкевича играло такую же вдохновляющую роль, как назначение экс-социалиста Адама Рапацкого на пост министра иностранных дел.

Одним из существенных элементов принадлежности к Западу была история – как далекая, в общем-то слабо известная, так и новая – и здесь снова возвращается мотив военного наследия. После перелома Польша начала высылать официальные делегации на празднование годовщины битвы за Монте-Кассино, забывая о том, что совсем недавно Андерс назывался предателем и фашистом, что было в определенной степени проблематично. Но следует помнить, что от таких проблем не отказались бы ГДР, Венгрия, Румыния и Болгария. Тот факт, что у Польши вообще были иконы или места памяти, общие со странами антигитлеровской коалиции, имел такое же большое значение, как западная память о «стране без Квислинга» и ее героическом сопротивлении.

⁹ Цит. по: M. Tomala, *Patrzac na Niemcy. Od wrogości do porozumienia 1945–1991*, Warszawa 1997, s. 207.

Использование этой ситуации ПНР требовало деликатности (как подчеркнуть связи с Западом, не вызывая подозрительности Москвы?) и большого искусства, которое не всегда было дано ее представителям. Когда в 1957 г. Палата общин для того, чтобы отметить октябрьские перемены, пригласила – первую из стран «народной демократии» – делегацию Сейма, британские хозяева после очередной лекции Зенона Клишко на тему превосходства социализма над капитализмом искренне признали, что «некоторые из них ожидали услышать от тов. Клишко больше ссылок на традиционную польско-британскую дружбу и меньше на тему борьбы за мир и достижений Народной Польши»¹⁰.

Подобные разочарования сопровождали, возможно, наиболее показательную попытку улучшения отношения одного из государств Запада – Франции – с Москвой и ее преддверием. Политика де Голля, как показывает Мария Паштор¹¹, явно отсылала к идеям и ситуации 1944-45 гг. Выход Франции из военных структур НАТО требовал поиска новых союзников, что, впрочем, прекрасно понимали и в Москве, и в Варшаве. Идея разбилась, что характерно, не столько об интервенцию в Чехословакию в 1968 г. или о польское участие в ней, сколько о польскую невозможность выйти «перед строем» социалистических государств. Воскрешение союзов периода войны годилось для заголовка одной из частей публичного выступления, на него можно было ссылаться в интервью, но, когда доходило до решений, оказывалось, что ни одна из 4 мировых держав, ответственных с июня 1945 г. за Германию как целое, не заинтересована в том, чтобы связывать себя обязательствами с кем-то за пределами эксклюзивного круга. Западные державы могли себе позволить дразнить Бонн жестами в отношении Польши (этой возможностью пользовалась, впрочем, лишь Франция), но не большее; растущее значение Бонна в НАТО и

¹⁰ PDD 1957, dok. 269, цит.: s. 805.

¹¹ М. Pasztor, *Między Paryżem, Warszawą i Moskwą: stosunki polsko-francuskie w latach 1954–1969*, Toruń 2003.

европейских структурах приравняла бы такой шаг к авантюризму и, возможно, к политическому самоубийству.

В других сферах воспоминания о войне тоже бледнели. От Бергена до Рима, правда, еще помнили от деяниях «гуннов» или «бошей», а представительство в Гааге в течение десятилетий считалось в дипломатии ФРГ таким же сложным, как в Тель-Авиве. В то же время, однако, в семидесятые годы ФРГ начали рассматривать как образец удачной *reeducation*, а аргумент антифашистского опыта, использовавшийся Гомулкой и Циранкевичем часто и до некоторой степени убедительно, в Европе эпохи *detente* утрачивал эффективность. ПНР, впрочем, много сделала для того, чтобы самоисключиться из антигитлеровской коалиции. Первый фактор – это пропаганда, стилизующая НАТО под агрессора, ждущего случая пересмотреть итоги второй мировой войны. Бундесвер, в случае которого исторический аргумент как-то удавалось обосновать, был лишь одной из десятка с лишним армий союза; все остальные, за исключением Италии, Португалии и Турции, представляли собой вооруженные силы прежних союзников и не только полякам в этом контексте было трудно поверить в удачность аналогии империализм = фашизм. Второй, менее, возможно, очевидный, – это 1968 год, не только по причине упомянутого участия в вооруженном захвате территории другой прежней жертвы Третьего рейха. Союзническая традиция в этом году понесла такой же большой ущерб после Марта.

Напомним, что в 1945 г. Польша стала хранителем памяти об уничтожении европейских евреев. Здесь находились все места промышленного геноцида. Народная Польша была – волей-неволей – их хозяином и решала вопрос об их обустройстве – фактическом и символическом. К тому же представители еврейских кругов в Польше заключили с новой властью своего рода неписаное соглашение: взамен за защиту демонстрировали миру свою поддержку изменения общественного строя, помогая создавать образ единственной истинной демократии, в частности, борющейся с антисемитизмом. Этот образ распространялся на польское антифашистское под-

полье, противопоставляя коммунистов реакционерам из Армии Крайовой и Национальных вооруженных сил. Это двойное облагораживание Народной Польши и ее корней (здесь также обильно использовался лозунг «страны без Квислинга») имело значение везде на Западе, где в СМИ, в руководстве политических партий и общественных организаций сидели левые ветераны движения сопротивления и евреи. В шестидесятые годы рост значения Союза борцов за свободу и демократию внутри страны сопровождался его неоднозначным восприятием в среде международных организаций ветеранов и мучеников. В Марте польско-партизанский миф был развеян взрывом антисемитизма: к отъезду из Польши вынуждались, в частности, те, кто с 1945 г. свидетельствовали о боевом, демократическом происхождении ПНР; те, кто во время немецкой оккупации «преследовались по расовым причинам», как это определяла загадочная формула тогдашних личных дел. Холокосту тогда было далеко до нынешней роли в общественном сознании. Но элементарная несправедливость Марта (именно элементарная, т. е. оторванная от конкретных биографий и контекстов) была очевидна. Наиболее болезненно ее ощутили западные левые круги, которые таким образом избавлялись также от веры в социализм с человеческим лицом в польском варианте. Символом здесь может послужить дело шефа легендарного «Красного оркестра» Леопольда Треппера, которому власти ПНР в течение нескольких лет отказывали в праве выезда на Запад¹². Вне зависимости от того, насколько он на самом деле годился для роли иконы еврейско-коммунистической борьбы с Третьим рейхом, он стал ею самое позднее в тот момент, когда информация об отказе ему в выдаче паспорта попала на Запад. Польский посол в Париже в 1972 г. трезво предупреждал (после вмешательства программы французского телевидения), что дело Треппера ужасно портит

¹² Этот мотив появляется во многих документах на тему отношений ПНР с западноевропейскими странами. См.: W. Borodziej, *Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972* (далее PDD 1972), Warszawa 2005, и P. Majewski (red.), *Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973*.

зарубежный имидж ПНР, поскольку оно начинает «постепенно становиться мерилом политических отношений в нашей стране, символом нетолерантности и антисоциалистическим паролем»¹³. В конце концов Треппер выехал из страны, в семидесятые годы власти избрали тактику показных уступок в вопросе памяти о евреях и Холокосте; внутренние оценки не скрывали, что речь идет лишь о видимости, предназначенной для Запада. Но тень Марта нависла над западными посольствами ПНР до конца их существования. Если бы в семидесятые годы Запад собирался что-нибудь сделать для Польши, новый Гарольд Николсон также имел бы трудности с обоснованием этого.

Добровольный отказ ПНР от места в ряду нормальных ветеранов коалиции в семидесятые годы соединялся с неясностью ее места также в несколько ином, но столь же тесно связанном со второй мировой войной и союзнической памятью укладе. Катынь была одной из наиболее стыдных карт коалиции – не потому, что союзники имели на нее какое бы то ни было влияние, а потому, что они ее старательно скрыли от общественного мнения и в польском вопросе действовали так, как будто ее не было. В начале пятидесятых годов речь об этом убийстве зашла, как мы знаем, на заседаниях специальной Комиссии Палаты представителей США. Оно бывало – вполне даже массово – используется как орудие Запада в холодной войне. Тем не менее, если мы на минуту забудем о польской эмиграции, Катынь оставалась в этой полемике аргументом правых и крайне правых. С точки зрения ПНР, это раздражало, но не более. В семидесятые годы, когда появился проект катынского памятника в Лондоне, вопрос стал рассматриваться более широко. Сотрудники *Foreign Office* в конце концов исхитрились вынести памятник на окраины города, польское и советское посольства в Лондоне могли быть более-менее довольны собой – до 1979 г., когда явно по распоряжению новой госпожи премьер-министра в традиционных торжествах 17 сентября

¹³ PDD 1972, dok. 37, цит.: s. 84.

впервые приняли участие представители кабинета, а музыкальное сопровождение взяла на себя капелла Ирландских королевских гусар Ее Королевского Величества¹⁴. Тот факт, что проблема Катыни ожила как раз в период разрядки и что она перестала быть делом кругов старой польской эмиграции и нескольких консервативных депутатов, имел значение для изменяющегося внешнего имиджа ПНР и тем самым для расширения возможностей ее деятельности.

Мы подходим к концу. Мир, а тем самым ранг истории в интересующем нас контексте изменились после «Солидарности». В 1980 г. Польша вышла из тени «железного занавеса». Она неожиданно стала лабораторией современности. Роль истории, без которой, впрочем, трудно себе представить возникновение «Солидарности», казалось, коренным образом уменьшилась. К Польше восьмидесятых («футбольному полю великих держав», по меткому определению Анджея Пачковского¹⁵) можно было бы отнести это же наблюдение. «Страна без Квислинга» уступала место стране «Солидарности», Папы и усатого нобелевского лауреата. В 1989 г. длинная тень 1945 года, однако, появилась снова. «Ялта обязывает» – звучал заголовок статьи одного из бывших послов ПНР в «Трибуне люду», через три недели после создания правительства Тадеуша Мазовецкого. «Хотим мы или нет, – звучала эта квинтэссенция ПНР, перенесенная в новую действительность, – что бы нам ни казалось, в международной политике по-прежнему господствует аргумент силы, а не сила аргументов (...) Ставить под сомнение актуальность и саму сущность ялтинских решений значит, таким образом, подрывать фундамент террито-

¹⁴ Британская документация по этому вопросу опубликована в книге: *Katyn. British Reactions to the Katyn Massacre, 1943 – 2003*, FCO Historians, London 2003.

¹⁵ А. Paczkowski, *Boisko wielkich mocarstw: Polska 1980 – 1989. Widok od wewnątrz* // „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 3 (7), 2002, s. 165–210.

риальной целостности нашего государства»¹⁶. Речь шла, конечно, о переломе в отношениях с Германией, планируемом новым правительством. Элитарный «народно-демократический» дипломат глубоко ошибался. Москва не собиралась обращаться даже к наиболее метафорической риторике Ялты, чтобы вмешиваться в польскую политику по отношению к Германии; вскоре оказалось, что ей не хватает силы даже на предотвращение гибели ГДР. Когда та распалась, появилась новая тень 1945 г. – Потсдам. Западная граница Польши была признана ФРГ в 1970 г., спустя пять лет ПНР приветствовала Хельсинки как признание линии Одры и Нысы-Лужицкой общественностью ОБСЕ. Перед лицом объединения Германии на первые полосы газет вернулись, однако, извивы западно-европейской правовой доктрины; тогдашний канцлер дополнил остальное, оттягивая момент окончательного признания восточной границы Германии настолько, насколько ему это казалось нужным. В конце концов в соглашении 2+4 от 12 сентября и в польско-германском договоре об утверждении границы от 14 ноября 1990 г. и эта точка была поставлена¹⁷. В этот момент могло казаться – казалось и мне, что история отныне становится прерогативой историков.

Споры вначале вокруг компенсаций работникам принудительного труда, потом вокруг Центра изгнанных, а в последнее время вокруг 8 мая и исторической политики убеждают в том, что все пока обстоит – и, возможно, долго еще будет – по-другому. Так нам, видно, на роду написано. Я бы хотел только трех вещей. Первое: мудрая политика должна уметь прощать. В 1989 г. мы убедились в спасительной силе времени. Если бы не она, мы бы не имели таких отношений с Украиной и Литвой, которые имеем сейчас. Второе: объяснять официаль-

¹⁶ Цит. по: О. Osica, „Widmo wielkich Niemiec”. *Proces jednoczenia państw niemieckich w polskiej literaturze naukowej i publicystyce* // W.M. Góralski (red.), *Niemcy w polskiej literaturze naukowej i publicystyce 1989 – 1996. Bibliografia*, Warszawa 1997, s. 31– 60, здесь: s. 44, прим. 40). Автором был многолетний посол ПНР в ФРГ Вацлав Пионтковский.

¹⁷ См. на эту тему: W. Borodziej (red.), *Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989–1991. Dokumenty dyplomatyczne*, Warszawa 2006.

ной России, как сильно она заблуждается в своей имперской трактовке истории, – наша обязанность. Без понимания польского взгляда мы не поймем друг друга точно так же, как в том случае, если мы забудем о сотнях тысяч солдат Красной Армии, которые полегли между Бугом и Одрой в 1944 и 1945 годах. Не их вина, что такую систему они везли в следующих за ними обозах.

В-третьих, призываю политиков и идеологов, а также некоторых коллег по профессии: не выводите Польшу 60 лет спустя из антигитлеровской коалиции! Балтам не повезло, история не дала им шанса. Другие народы устами своих представителей-диктаторов выбирали Ось. Только Польша приняла другое решение. И заплатила за это страшную цену. Но это было на самом деле единственное достойное место в пору испытания, которое до сих пор конституирует историческую память Европы.

Лекция в Польском институте международных дел, 10 апреля 2006 г.